

Максим Горький (1868–1936)

О «КАРМАЗОВЩИНЕ»

Газета «Русское слово», 22.09.1913

После «Братьев Карамазовых» Художественный театр инсценирует «Бесов» — произведение еще более садическое и болезненное. Русское общество имеет основание ждать, что однажды господин Немирович-Данченко поставит на сцене «лучшего театра Европы» «Сад пыток» Мирбо, — почему бы не показать в лицах картины из этой книги? Садизм китайцев патологически интересен для специалистов, наверное, не менее, чем русский садизм.

Не будем говорить о том, что еще недавно «Бесы» считались пасквилем и что произведение это ставилось многими из лучших людей России в один ряд с такими тенденциозными книгами, каковы: «Марево» Клюшникова, «Панургово стадо» Вс. Крестовского и прочие темные пятна злорадного человеконенавистничества на светлом фоне русской литературы.

Очевидно, господин Немирович знает, что есть публика, которой забавно будет видеть неумную карикатуру на Тургенева в годовщину тридцатилетия его смерти, и приятно посмотреть на таких «дьяволов от революции», каков Петр Верховенский, или на таких «мерзавцев своей жизни», каковы Липутины и Лебядкины; ведь, глядя на них, очень легко и удобно забыть, что есть люди честные, бескорыстные, а несомненно, что ныне многие нуждаются в этом забвении, и вот Художественный театр послужит этой нужде — поможет дремлющей совести общества заснуть крепче.

Но оставим в стороне вопросы совести, а клевету и злые карикатуры сотрет история, — станем говорить о социальной пользе инсценировки «Бесов».

Меня интересует вопрос: думает ли русское общество, что изображение на сцене событий и лиц, описанных в романе «Бесы», нужно и полезно в интересах социальной педагогики?

Неоспоримо и несомненно: Достоевский — гений, но это злой гений наш. Он изумительно глубоко почувствовал, понял и с наслаждением изобразил две болезни, воспитанные в русском человеке его уродливой историей, тяжелой и обидной жизнью: садическую жестокость во всем разочарованного нигилиста и — противоположность ее — мазохизм существа забитого, запуганного, способного наслаждаться своим страданием, не без злорадства, однако, рисуясь им пред всеми и пред самим собою. Был нещадно бит, чем и хвастается.

Главный и наиболее тонко понятый Достоевским человек — Федор Карамазов, бесчисленно — и частично и в целом — повторенный во всех романах «жесточкого таланта». Это — несомненно русская душа, бесформенная и пестрая, одновременно трусливая и дерзкая, а прежде всего — болезненно злая: душа Ивана Грозного, Салтычихи, помещика, который травил детей собаками, мужика, избивающего насмерть беременную жену, душа того мещанина, который изнасиловал свою невесту и тут же отдал ее насиловать толпе хулиганов.

Очень искаженная душа, и любоваться в ней — нечем.

Может быть, она ищет некий стержень — прочное основание, которое укрепило бы, кристаллизовало, оформило ее, и потому бунтует, все разрушая, все грязня? Но грязью, мучительством, кровью не залечить своей раны, и пока эта безумная душа ищет себе стержня или наказания, — сколько она — попутно в монастырь или на каторгу — прольет в мир гнилого яда, сколько отравит детей и юношества!

Достоевский — сам великий мучитель и человек больной совести — любил писать именно эту темную, спутанную, противную душу. Но все мы хорошо чувствуем, что Федор Карамазов, «человек из подполья», Фома Опискин, Петр Верховенский, Свидригайлов — еще не все, что нажито нами, ведь в нас горит не одно звериное и жульническое! Достоевский же видел только эти черты, а желая изобразить нечто иное, показывал нам «Идиота» или Алешу Карамазова, превращая садизм — в мазохизм, карамазовщину — в каратаевщину. Платон Каратаев, как и Федор Карамазов, живые, по сей день живущие вокруг нас люди; но возможно ли существование народа, который делится на анархистов-сладоэротиков и на полумертвых фаталистов?

Очевидно, что не эти два характера создали, и хотя медленно, а все-таки развивают культуру России.

Почему же внимание общества пытаются остановить именно на этих болезненных явлениях нашей национальной психики, на этих ее уродствах? Их необходимо побороть, от них нужно лечиться, необходимо создать здоровую атмосферу, в которой эти болезни не могли бы иметь места.

А у нас показывают гнойные язвы, омертвевшие тела, заставляя думать, что мы живем среди мертвых душ и живых трупов.

Никто не станет отрицать, что на Русь снова надвигаются тучи, обещая великие бури и грозы, снова наступают тяжелые дни, требуя дружного единения умов и воли, крайнего напряжения всех здоровых сил нашей страны, — время ли теперь любоваться ее уродствами? Ведь они заражают, внушая отвращение к жизни, к человеку, и — кто знает — не влияла ли инсценировка Карамазовых на рост самоубийств в Москве?

Несомненно также, что русское общество, пережив слишком много потрясающих сердце драм, утомлено, разочаровано, апатично. Температура нашего отношения к действительности, к запросам жизни — сильно понижена.

Среди условий, понижающих ее, немалую роль сыграла пропаганда социального пессимизма и возвращение к так называемым «высшим запросам духа», которые у нас, на Руси, ничего не внося в этику, не улучшая наших отношений друг к другу, являются только красноречием, отвлекающим от живого дела. Возникновение этих отрывков прошлого объясняется тем, что Русь, к сожалению, больше, чем другие, жила под гнетом церковного и богословского воспитания. Вот почему Гоголь только тогда здоров и деятелен, когда его волю и воображение направляет европеец Пушкин, человек, знающий прошлое своей страны, но не отравленный им.

Пред нами — огромная работа внутренней реорганизации не только в социально-политическом смысле, но и в психологическом. Мы должны тщательно пересмотреть все, что унаследовано нами из хаотического прошлого, и, выбрав ценное, полезное, — бесценное и вредное отбросить, сдать в архив истории. Нам больше, чем кому-либо, необходимо духовное здоровье, бодрость, вера в творческие силы разума и воли.

Мы живем в стране с пестрым населением в 170 миллионов людей, говорящих на полусотне языков и наречий; наш нищий народ выпивает водки почти на миллиард ежегодно и — пьет все больше.

Не здесь ли один из источников все растущего хулиганства, которое — в существе своем — та же карамазовщина?

Пора подумать, как отразится это озеро яда на здоровье будущих поколений, не усилит ли дикое пьянство темную жестокость нашей жизни, садизм деяний и слов, нашу дряблость, наше печальное невнимание к жизни мира, к судьбе своей страны и друг ко другу?

И вот, в интересах духовного оздоровления, необходимо, как мне кажется, определить социально-воспитательное значение тех идей, которые Художественный театр предполагает показать нам в образах. Нужно ли это увечное представление? Я уверен, что — нет.

Это «представление» — затея сомнительная эстетически и безусловно вредная социально.

Рабски следуя за Художественным театром, театр Незлобива инсценирует «Идиота»; тут тоже есть чем полюбоваться, например: агонией туберкулезного Ипполита, эпилепсией князя Мышкина, жестокостью Рогожина, истерией Настасьи Филипповны и прочими поучительными картинами всяческих болезней тела и духа. Не надо забывать, что на сцене театра не так ясны мысли автора, как жесты, и что роман Достоевского, оголенный купюрами, примет характер сплошной нервной судороги.

Я предлагаю всем духовно здоровым людям, всем, кому ясна необходимость оздоровления русской жизни, — протестовать против постановки произведений Достоевского на подмостках театров.

Эта заметка вызвала протест со стороны довольно значительной группы литераторов; протест был напечатан в вечернем издании «Биржевых ведомостей» и сводился к обвинению меня в том, что я пытаюсь установить цензуру общества над свободой художника. Следующая моя заметка является ответом на протест литераторов.

ЕЩЁ О «КАРАМАЗОВЩИНЕ»

Газета «Русское слово», 27.10.1913

Открытое письмо

Мой призыв к протесту против изображения «Бесов» и вообще романов Достоевского на сцене вызвал единодушный отклик со стороны господ литераторов, более или менее резко выразивших порицание мне. Один из сторонников Достоевского, господин Горнфельд, указал даже, что:

«Противники Горького перегнули палку в противоположную сторону: появились уже гаденькие слова о какой-то творимой им цензуре».

Слова действительно лишние и, на мой взгляд, весьма постыдные для тех, кто их придумал.

Но суть дела не в отношении ко мне лично того или другого лица, — это никому не интересно; суть в том, что все высказавшиеся против меня отрицают за обществом его право протестовать против тенденций и явлений, враждебных росту человечности в обществе.

Мнения, высказанные литераторами, слагаются предо мною так:

«Хотя Достоевский и реакционер; хотя он является одним из основоположников «зоологического национализма», который ныне душит нас; хотя он — хулитель Грановского, Белинского и враг вообще «Запада», трудами и духом которого мы живем по сей день; хотя он — ярый шовинист, антисемит, проповедник терпения и покорности, — но при всем этом его художественный талант так велик, что покрывает все его прегрешения против справедливости, выработанной лучшими вождями человечества с таким мучительным трудом. И посему общество лишается права протеста против тенденций Достоевского, да и вообще против всякого художника, какова бы ни была его проповедь». Однако, когда в 1907 году театр Суворина поставил на сцене «Бесов», общество, в лице прогрессивной печати, протестовало против этой инсценировки, справедливо определив ее как прием политической борьбы.

Почему же то, что во грех Суворину, — Немировичу-Данченко во спасение? Почему общество может протестовать против ничтожной пьески «Контрабандисты», а против сильного и злого романа «Бесы» не может?

Почему ваш, господа, коллективный протест против моего мнения — не цензура, а мой призыв к протесту — призыв к цензуре?

Прошу понять, что я не себя защищаю, — я просто указываю, что общество имеет право протеста против проповеди того или иного художника, — имеет это право и пользовалось им.

Ваше отношение к вопросу мне неясно.

Возражения, брошенные мне, брошены под заголовком — «Горький против Достоевского», причем один литератор приписал мне намерения крайне свирепые. Он говорит, что если бы я был министром, то сжег бы Достоевского. Министром я не надеюсь быть, но все-таки считаю долгом моим заранее успокоить взволнованного писателя: если и буду, то не сожгу. Не сожгу, ибо русскую литературу люблю и ценю не менее почтенного литератора. Он очень громогласно объявил городу и миру о своем безграничном свободолюбии, но каждый раз, когда я слышу такие объявления, мне хочется спросить объявителя:

«А вы от чего желаете освободиться? Не от всех ли обязанностей человека и гражданина?»

Ибо русское понимание «последней свободы» почти всегда скрывает за собою стремление от деяния — к созерцанию, от культуры — к дикости и варварству.

Горький не против Достоевского, а против того, чтобы романы Достоевского ставились на сцене.

Я убежден, что одно дело — читать книги Достоевского, другое — видеть образы его на сцене, да еще в таком талантливом исполнении, как это умеют показать артисты Художественного театра.

В книгах для внимательного читателя ясны и реакционные тенденции Достоевского и все его противоречия, все те страшные натяжки, которых никому другому не простили бы.

Если тринадцатилетний мальчик Красавин говорит, что «глубоко постыдная черта, когда человек всем лезет на шею от радости», читатель вправе усумниться в бытии такого мальчика. Если мальчик заявляет: «Я их бью, а они меня обожают» — и характеризует товарища: «Предался мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слушает меня, как бога», — читатель видит, что это — не мальчик, а Тамерлан или по меньшей мере околотовичный надзиратель.

Когда четырнадцатилетняя девочка говорит: «Я хочу, чтоб меня кто-нибудь истерзал», «хочу зажечь дом», «хочу себя разрушить», «убью кого-нибудь», — читатель видит, что это правдоподобно, хотя и болезненно.

Но когда девочка эта рассказывает, как «жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене гвоздями», и добавляет: «Это хорошо. Я иногда думаю, что сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть», — здесь читатель видит, что девочку оклеветали: она не говорила, не могла сказать такой отвратительной гнусности. Тут, на горе наше, есть правда, но это — правда Салтычихи, Аракчеева, тюремных смотрителей, а не правда четырнадцатилетней девочки.

И когда на вопрос этой оклеветанной девочки: «Правда ли, что жида на пасху детей крадут и режут?» — благочестивый Алеша Карамазов отвечает: «Не знаю», — читатель понимает, что Алеша не мог так ответить; Алеша не может «не знать»; он — таков, каким написан, — просто не верит в эту позорную легенду, органически не может верить в нее, хотя и Карамазов.

Если же читателю будет доказано, что Алеша в юности действительно «не знал», пьют ли евреи кровь христиан, тогда читатель скажет, что Алеша вовсе не «скромный герой», как его рекомендовал автор, а весьма заметная величина, жив до сего дня и подвизается на поприще цинизма под псевдонимом «В. Розанов».

Всматриваясь в словоблудие Ивана Карамазова, читатель видит, что это — Обломов, принявший нигилизм ради удобств плоти и по лени, и что его «неприятие мира» — просто словесный бунт лентяя, а его утверждение, что человек — «дикое и злое животное», — дрянные слова злого человека.

Читатель видит также, что Иваново трактирное рассуждение о «ребеночке» — величайшая ложь и противное лицемерие, тотчас же обнаженное самим нигилистом в словах:

«Я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних».

Ближний — это и есть ребенок, человек, который завтра унаследует после нас все доброе и злое, совершенное нами на земле, а если Иван не понимает, как можно любить его, — значит, все, что он говорит о жалости к «ребеночку», — сентиментальная ложь.

«Весь мир познания не стоит слезок ребеночка», — говорит нигилист, но читатель знает, что это — тоже ложь. Познание есть деяние, направленное к уничтожению горьких слез и мучений человека, стремление к победе над страшным горем русской земли. Вообще, читая книги Достоевского, читатель может корректировать мысли его героев, отчего они значительно выигрывают в красоте, глубине и в человечности.

Когда же человеку показывают образы Достоевского со сцены, да еще в исключительно талантливом исполнении, — игра артистов, усиливая талант Достоевского, придает его образам особенную значительность и большую законченность.

Сцена переносит зрителя из области мысли, свободно допускающей спор, в область внушения, гипноза, в темную область эмоций и чувств, да еще особенных, «карамазовских», злорадно подчеркнутых и сгущенных, — на сцене зритель видит человека, созданного Достоевским по образу и подобию «дикого и злого животного».

Но человек — не таков, я знаю.

И вот, находя, что вся деятельность Достоевского-художника является гениальным обобщением отрицательных признаков и свойств национального русского характера, я уверен, что образы его на сцене театра, подчеркнутые игрою артистов, приобретают убедительность и завершенность большую, чем на страницах книг.

Я считаю это социально вредным, ибо человек — не «дикое и злое животное» и он гораздо проще, милее, чем его выдумывают российские мудрецы.

А протест общества против того или иного литератора одинаково полезен как для общества, которому пора сознать свои силы и свое право борьбы против всего, что ему враждебно, так и для личности.

Тот, кто достаточно силен верой в себя и в жизненность своих идей, перешагнет через все сопротивления, и общество душу его не умертвит.

Один из свободолюбивых литераторов, высмеивая мое мнение, между прочим, восклицает:

«Нет, вредной литературы не существует! Чем гениальнее произведение, тем больше его благотворное влияние, даже если гений и заблуждается».

Гениальные книги крайне редки, как это всем известно. Мы живем во дни великой бедности духовной, во дни печального разброда сил; наша текущая литература, посильно отражая процесс дробления русской души, не позволяет надеяться на то, что художник-гений уже скоро явится среди нас. А «вредная» литература несомненно существует, — автор приведенных выше строк сам неоднократно указывал на нее. Несомненно, что он не признает полезной повесть, в которой проповедуется, например, педерастия или сладостно описываются иные извращения полового чувства. Наверное, он не признает полезной книгу, в которой «художественно» восхвалялось бы предательство или «гениально» защищалась необходимость поголовного истребления турок.

Киплинг очень талантлив, но индусы не могут не признать вредной его проповедь империализма, и весьма многие англичане согласны в этом с ними. «Вредной» литературы очень много, и у нее есть своя заслуга: как прыщ указывает, что кожа грязна, так и эта литература свидетельствует о нечистоплотности души.

Что заставило меня говорить на эту тему? Вот что: я знаю хрупкость русского характера, знаю жалостную шаткость русской души и склонность ее, замученной, усталой и отчаявшейся, ко всякого рода заразам. Прочитайте внимательно анкету «Вестника воспитания», прислушайтесь к голосам современной молодежи, — нехорошо на Руси, господа!

Не Ставрогиних надобно ей показывать теперь, а что-то другое. Необходима проповедь бодрости, необходимо духовное здоровье, деяние, а не самосозерцание, необходим возврат к источнику энергии — к демократии, к народу, к общественности и науке.

Довольно уже самооплеваний, заменяющих у нас самокритику; довольно взаимных заушений, бестолкового анархизма и всяких судорог.

И Достоевский велик, и Толстой гениален, и все вы, господа, если вам угодно, талантливы, умны, но Русь и народ ее — значительнее, дороже Толстого, Достоевского и даже Пушкина, не говоря о всех нас.

Наша замученная страна переживает время глубоко трагическое, и хотя снова наблюдается «подъем настроения», но этот подъем требует организующих идей и сил больше и более мощных, чем требовал назад тому восемь лет.

Считаю нужным указать, что в реакционной прессе постановка «Бесов» Художественным театром вызвала полное удовлетворение, в доказательство этого привожу выдержки из статьи господина Независимого, напечатанной в 19 № журнала князя Мещерского «Гражданин» (№ 19, 1914 год).

СОВРЕМЕННАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Все мы можем искренно поблагодарить Московский Художественный театр за постановку на сцене картин из романа «Бесы» Достоевского.

Заслуга Художественного театра: он воскресил в памяти «Бесы», он указал на современность этого романа, он заинтересовал всех этой современностью. Меня лично этот спектакль заставил достать с полки книжного шкапа Достоевского и снова перечесть его. Чтоб проверить свое собственное впечатление, ради простой любознательности, я зашел в несколько библиотек — городских и частных — с просьбой дать мне роман «Бесы», и везде получал один и тот же ответ: книга взята.

Мне кажется, это одно из немаловажных доказательств, насколько идея постановки сцен из романа «Бесы» воскресила интерес публики к нашему великому писателю.

Впечатление от спектакля тем сильнее, что все действующие лица романа «Бесы» вот вчера, сегодня проходили и проходят перед нами и сам сюжет буквально выхвачен из нашей текущей жизни.

Все сцены — сплошное развенчивание деятелей революции: каждый монолог говорит о тех низменных чувствах, которыми руководствуются эти деятели, — все время вы не можете отличить, где кончается революционная партийная работа и где начинается грязная провокация этих грязных дельцов. Как все это современно! И как все это поучительно! Недаром Максим Горький так энергично кричал против этой постановки Художественного театра, и, вероятно, руководителям театра немало пришлось перенести затруднений, прежде чем поставить этот спектакль. Пусть наша молодежь, которая жаждет подвигов, которая, будучи очень отзывчивой на горе и несчастье ближних, бросается в революционные кружки и, веря красивым песням о свободе, равенстве и братстве руководителей этих кружков, отдает работе в них все свои силы в надежде изменить существующий строй и тем якобы обеспечить для всех счастливую и справедливую жизнь, — пусть эта молодежь, которая видит в своих руководителях богов и на них молится, пусть она пойдет на представление Московского Художественного театра посмотреть «Бесы» и перечтет потом дома это бессмертное произведение русского гения.

Вот он Азеф — Петр Верховенский, вот эти все нищие духом и умом Кирилловы и Шатовы, вот они, безвольные, бесхарактерные, неумные государственные деятели типа фон Лембке! Вот оно, постоянное запусивание каким-то «центральным комитетом», находящимся где-то за границей, но которого никто не знает и который состоял, вероятно, из тех же грязных, порочных людей...

Разве все это не видим мы в наше время? Разве все это не портреты наших дней?

Как все это назидательно и как жаль, что у нашей чуткой молодежи роман «Бесы» Достоевского не является настольной книгой. Если всем нам полезно посмотреть этот спектакль, то нашей молодежи положительно необходимо видеть «Бесы» в Михайловском театре, и я позволяю себе кончить эти несколько строк о своем впечатлении выражением сожаления, что по своим ценам этот театр почти совсем недоступен широкой русской публике.

Независимый